

РОБЕРТ ПЕНН УОРРЕН

ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

Mentre che la speranza ha fior
del verde...

«La Divina Commedia», Purgatorio, III

Пока хоть листик у надежды
бьется...

Данте. Божественная комедия,
Чистилище, III
(Перевод М. Лозинского)

Глава первая МЕЙЗОН-СИТИ

Чтобы попасть туда, вы едете из города на северо-восток по шоссе 58; шоссе это хорошее и новое. Вернее, было новым в тот день, когда мы ехали. Вы смотрите на шоссе, и оно бежит навстречу, прямое на много миль, бежит, с черной линией посередине, блестящей и черной, как вар на белом бетонном полотне, бежит и бежит навстречу под гудение шин, а над бетоном струится марево, так что лишь черная полоса видна впереди, и, если вы не перестанете глядеть на нее, не вдохнете поглубже раз-другой, не хлопнете себя как следует по затылку, она усыпит вас, и вы очнетесь только тогда, когда правое переднее колесо сойдет с бетона на грунт обочины, — очнетесь и вывернете руль налево, но машина не послушается, потому что полотно высокое, как тротуар, — и тут, уже летя в кювет, вы, наверно, протянете руку, чтобы выключить зажигание. Но, конечно, не успеете. А потом негр, который мотыжит хлопок в миле отсюда, он поднимет голову, увидит столбик черного дыма над ядовитой зеленью хлопковых полей в злой металлической синеве раскаленного неба, и он скажет: «Господи спаси, еще один сковырнулся». А негр в соседнем ряду отзовется: «Гос-споди спаси», и первый захихикает, и снова поднимется мотыга, блеснув лезвием, как гелиограф. А че-

рез несколько дней ребята из дорожного отдела воткнул здесь в черный грунт обочины железный столбик, и на нем будет белый жестяной квадрат с черным черепом и костями. Потом над травой поднимется плющ и обовьет этот столбик.

Но если вы очнулись вовремя и не слетели в кювет, то будете мчаться сквозь марево, и навстречу будут пролетать автомобили с таким ревом, будто сам Господь Бог срывает голыми руками железную крышу. Далеко впереди, на горизонте, где хлопковые поля тают в белом небе, бетон будет блестеть и сиять, словно затопленный водою. И вы будете мчаться туда, но оно всегда будет впереди, это ясное, влажное пятно, недостижимое, как мираж. И будут проноситься мимо жестяные квадраты с черепами и скрещенными косточками. Потому что это страна, где век двигателей внутреннего сгорания давно вступил в свои права. Где каждый мальчишка — Барни Олдфилд, а девушки с гладкими личиками, от которых холодеет сердце, ходят в шитье, органди и батисте, но без трусов — по причине климата, — и когда встречный ветер в машине поднимает у них волосы на висках, вы видите там светлые капельки пота; девушки низко сидят на сиденьях, согнув тоненькие спины и подтянув колени повыше к приборной доске, но не слишком сдвигая их, чтобы было прохладней от вентилятора — если это можно назвать прохладой. Где запах бензина и горящих тормозных колодок и красный стоп-сигнал — слаще мирры. Где восьмицилиндровые махины срезают виражи среди красных холмов, разбрызгивая гравий, будто воду, а когда они спускаются на равнину и дуют по новым шоссе — смилуйся, Бог, над душами путников.

Дальше по шоссе 58 — и ландшафт меняется. Остаются сзади равнины, хлопковые поля, и купа дубов у большого дома, и выбеленные — одна в одну — хижинки, выстроившиеся вдоль поля, и хлопок, подступаю-

ший к самому порогу, где сидит негритенок, сосет большой палец и смотрит, как вы проезжаете мимо. Теперь все это позади. Теперь — лишь красные холмы вокруг, кусты куманики у изгороди, да черные бочажки в лощинах, да изредка молодой сосняк — если его не спалили под выгон для овец, а если спалили — то черные пни. И еще — хлопковые посевы, опоясывающие склоны холмов, рассеченных оврагами, да жухлые, неподвижные листья кукурузы.

Когда-то здесь были сосновые леса, но их давно свели. Наехала сюда всякая шантрапа, настроила лесопилок и кредитных лавок, провела узкоколейки и стала платить по доллару в день, и народ попер из лесов за этим долларом, народ повалил бог знает откуда, со своими комодами и кроватями, со своими пятью ребятишками на фургонах, со своими старухами в чепцах, жующими табак, и младенцами, вцепившимися в титьку. Пилы пели сопрано, приказчик отвешивал патуку, сало и записывал долг в своей большой книге; доллар янки и тупость южан залечивали раны четырехлетней братоубийственной распри, и все крутилось, и вертелось, и шло гладко, как по маслу. А потом оказалось вдруг, что сосновых лесов больше нет. Лесопилки были разобраны. Узкоколейки заросли травой. Народ растаскал магазины на дрова. Не стало больше доллара в день. И воротилы разъехались в бриллиантовых перстнях и черном двойном сукне. Но кое-какие люди осели здесь, чтобы смотреть, как вгрызаются овраги в красную глину. И кое-кто из них со своими потомками и правопреемниками остался в Мейзон-Сити — тысячи четыре народу, не больше.

Вы въезжаете в город по шоссе 58, мимо прядильни и электростанции, мимо вереницы негритянских хижин, по улице, застроенной белыми некогда домишками с железной кровлей и тоскливым пряничным кружевом резьбы на карнизах террас, мимо дворов, где

листья деревьев млеют и никнут от зноя, и сквозь вежливый шепот восьмидесятисильного верхнеклапанного (или какой там у вас) на скорости сорок миль слышите жужжание июльских мух, ввинчивающихся в зелень.

Таким я застал Мейзон-Сити в последний раз — почти три года назад, летом 36-го. Я сидел в первой машине, в «кадиллаке», вместе с Хозяином, м-ром Дафи, женой и сыном Хозяина и Рафинадом. Во второй машине, которая была не так элегантна, как наша помесь катафалка с океанским лайнером, но все же не заставила бы вас краснеть на стоянке загородного клуба, ехали репортеры, фотографы и секретарша Хозяина Сэди Бёрк, которая следила за тем, чтобы они не налакались и были в состоянии делать то, что им положено делать.

«Кадиллаком» правил Рафинад, и смотреть на это было приятно. Было бы приятно, если бы вы смогли отвлечься от мыслей о том, во что превратятся две тонны дорогих механизмов, перевернувшись раза три на скорости восемьдесят миль, и сосредоточить внимание на мускульной координации, сатанинском юморе и молниеносном расчете, которые демонстрировал Рафинад, круто обходя воз с сеном навстречу огромному бензовозу и бросая машину в ничтожный просвет, чтобы устроить инфаркт шоферу одним крылом, а другим — смахнуть соплю у мула. Но Хозяину это нравилось. Он всегда сидел впереди, поглядывая то на спидометр, то на дорогу, и улыбался Рафинаду, когда они проскакивали между бензовозом и носом мула. И голова Рафинада дергалась, как всегда, когда слова застревали у него в горле и не желали выходить наружу.

— 3-3-за, — выдавливал он, и слюна вылетала у него изо рта, словно из распылителя. — 3-3-зараза, он ж-ж-же видел, ч-ч-что, — и слюна брызгала на ветровое стекло, — ч-ч-ч-то я еду.

Рафинад не мог разговаривать, но он мог выразить себя, поставив ногу на акселератор. Он не одержал бы победы на школьном диспуте, да и вряд ли кто захотел бы дискутировать с Рафинадом. Во всяком случае, не тот, кто знал его или видел, как он управляется со своим спец. 9,65 мм, который торчал у него под мышкой, словно опухоль.

Вы, конечно, решили, судя по имени, что Рафинад был негром. Но он не был негром. Он был из ирландцев, хотя и непутевых. Росту в нем было метр пятьдесят семь, и в свои двадцать семь или двадцать восемь лет он порядком оплешивел. Галстуки он носил красные, а под галстуком и рубашкой — маленькую католическую медаль на цепочке, и я надеялся всей душой, что это св. Христофор и что св. Христофор нас не оставит. Фамилия его была О'Шиин, а Рафинадом его звали потому, что он вечно сосал сахар. Каждый раз, уходя из ресторана, он забирал из вазочки весь кусковой сахар. Он так и ходил с карманами, набитыми сахаром, и, когда он бросал в рот кусок, вы видели прилипшие к сахару табачные крошки и серые нитки, которые всегда сваливаются на дне кармана. Он бросал этот кусок за частокол маленьких кривых черных зубок, его тощие ирландские щеки втягивались внутрь, и он становился похож на недокормленного эльфа.

Хозяин сидел впереди возле Рафинада, поглядывая на спидометр, а рядом с ним его сын Том. Тому было лет восемнадцать или девятнадцать — не помню точно, — но выглядел он старше. Он был не так уж высок, но сложен как взрослый мужчина, и голова сидела у него на плечах по-мужски, а не торчала вперед на тонкой шее, как у подростка. Он был футбольной знаменитостью еще в школе, а прошлой осенью стал звездой в сборной первокурсников нашего университета. О нем писали в газетах — и не зря. И он знал это. Он знал, что он молодчага, — достаточно было взглянуть на его

гладкое, красивое, загорелое лицо, на челюсти, мерно и безучастно обрабатывавшие жвачку, на голубые глаза под тяжелыми веками, так же мерно и бесстрастно обрабатывавшие вас, да и весь белый свет, пропади он пропадом. В тот день, когда он сидел впереди с Вилли Старком, то бишь Хозяином, я не видел его лица. Но я помню, как думал о том, что и формой и посадкой головы он напоминает своего папашу.

Миссис Старк (Люси Старк, жена Хозяина), Крошка Дафи и я сидели сзади; Люси Старк — между Крошкой и мной. Нельзя сказать, что это была чересчур веселая компания. Во-первых, светской беседе не способствовала жара. Во-вторых, мое внимание было приковано к бензовозам и телегам с сеном. В-третьих, Дафи и Люси Старк не очень ладили друг с другом. Словом, Люси сидела между Дафи и мною и предавалась своим мыслям. Подозреваю, что ей было о чем подумать. Ну, хотя бы о том, сколько воды утекло с тех пор, как она начала учительствовать в Мейзон-Сити и вышла замуж за краснолицего деревенского парня с тяжелыми руками, каштановым чубом, спадавшим на лоб (можете полюбоваться на их свадебную фотографию — одну из тысяч фотографий Вилли, напечатанных в газетах), и глазами, которые смотрели на нее с собачьей преданностью и изумлением. Ей было над чем подумать в быстром «кадиллаке», потому что с тех пор многое переменялось.

По улице, застроенной некогда белыми домишками, мы выехали на площадь. Была суббота, конец дня, и на площади толпился народ. Вокруг истоптанного газона сплошняком стояли повозки и корзины, а посреди него — здание суда, кирпичный ящик, облезлый и нуждавшийся в окраске, потому что воздвигнут он был еще до Гражданской войны, с башенкой, украшенной со всех четырех сторон часами. При ближайшем рассмотрении обнаружилось, что часы эти не-

настоящие. Они были просто нарисованы и всегда показывали пять часов, а отнюдь не восемь семнадцать, как показывают большие нарисованные часы перед захудалыми ювелирными магазинами. В толпе людей, занятых куплей и продажей, мы притормозили; Рафинад стал сигналить, голова его задергалась, и, брызгая слюной, он произнес: «3-3-3-3-ар-аза».

Мы подкатили к аптеке, и, прежде чем Рафинад успел остановиться, мальчик Том, а за ним и Хозяин выпрыгнули из машины. Я вышел и помог Люси Старк, которая достаточно пришла в себя после жары и разных мыслей, чтобы сказать: «Спасибо». Она замешкалась на тротуаре, одергивая юбку на бедрах, которые, должно быть, располнели с тех пор, как она завоевала сердце крестьянского сына Вилли Старка.

Последним из «кадиллака» выгрузился м-р Дафи, и мы направились к аптеке. Хозяин распахнул дверь перед Люси Старк, вошел за ней следом, а за ним двинулись и мы. Внутри было полно народу: у стойки с газированной водой толпились мужчины в комбинезонах, у прилавков с ослепительным хламом тосковали женщины, а ребятишки, цепляясь одной рукой за юбку и другой стискивая рожок с мороженым, глядели поверх своих мокрых носов на мир взрослых глазами, напоминая китайские шарики из поддельного мрамора. Хозяин с упавшим на лоб влажным чубом, держа шляпу в руке, скромно встал в очередь за газировкой. Он простоял так, наверное, с минуту, а потом одна из девушек, накладывавших мороженое, заметила его и, сделав такое лицо, будто у нее в церкви лопнули подвязки, уронила ложку и направилась в заднюю часть аптеки, до звона накачивая бедрами свой зеленый халатик.

Через миг маленький лысый субъект в белом пиджаке, давно скучавшем по стирке, ринулся в толпу из заднего помещения, махая рукой, налетая на по-

сетителей и восклицая: «Это Вилли!» Белый пиджак подбежал к Хозяину, Хозяин шагнул ему навстречу, и он ухватился за руку Вилли, как утопающий. Он не пожимал руку, как это принято делать. Он просто повис на ней, дрожа всем телом и захлебываясь звуками магического слова *Вилли*. Потом, когда припадок кончился, он обернулся к толпе, стоявшей на почтительном отдалении, и объявил:

— Боже мой, друзья, ведь это Вилли!

Замечание было излишне. С первого взгляда было ясно, что если кому-нибудь из собравшихся граждан не знакомо лицо и имя плечистого мужчины в легком костюме, то этот гражданин полоумный. Не говоря уже о том, что если бы гражданин этот потрудились поднять глаза, он увидел бы над сатуратором шестикратно увеличенное против натуральных размеров изображение того же самого лица: те же большие глаза, но на фотографии несколько сонные и как бы обращенные в себя (сейчас глаза человека в легком костюме были лишены этого выражения, но мне доводилось его видеть), те же мешки под глазами, чуть обрюзглые щеки, мясистые губы, которые, если взглядеться, были пригнаны одна к другой, как пара кирпичей, ту же спутанную прядь волос, свисавшую на не очень высокий квадратный лоб. Под портретом было написано в кавычках: «*Я слушаю сердце народное*». И подпись: Вилли Старк. Я видел эту фотографию в тысяче разных мест — от двorcов до бильярдных.

Кто-то крикнул: «Здорóво, Вилли!» Хозяин помахал правой рукой, приветствуя неизвестного почитателя. Потом он заметил у дальнего конца стойки высокого тощего малярика, наружностью напоминавшего вяленую оленину, обтянутую дубленой кожей, в джинсах и с вислыми усами, какие встречаешь порой на снимках кавалеристов генерала Форреста. Хозяин направился к нему, протягивая руку. Кожаная

Морда не выразила чувств. Разве что шаркнула разбитым сыромятным башмаком по плитке да двинула раза два адамовым яблоком. Глаза на лице, похожем на старое, брошенное во дворе седло, смотрели выжидательно, и, когда Хозяин приблизился, рука Кожаной Морды согнулась в локте так, словно не принадлежала никому, а жила самостоятельной жизнью, и Хозяин пожал ее.

— Как жизнь, Малахия? — спросил Хозяин.

Адамово яблоко перекатилось с места на место, Вилли отпустил руку, которая повисла в воздухе, будто ничья, и Кожаная Морда сказала:

— Помаленьку.

— Как твой малый? — спросил Хозяин.

— Не очень.

— Болеет?

— Не, — пояснила Кожаная Морда, — посадили.

— Черт возьми, — сказал Хозяин, — что они, очумели, сажать таких хороших ребят в тюрьму?

— Он хороший малый, — согласилась Кожаная Морда. — И драка была честная, но ему не повезло.

— А?

— Все было честно, по правилам, но ему не повезло. Он пырнул парня, а парень умер.

— Дела... — сказал Хозяин. — Судили?

— Нет еще.

— Дела, — сказал Хозяин.

— Мы не жалуемся, — сказала Кожаная Морда. — Все было честно, по правилам.

— Рад был тебя повидать, — сказал Хозяин. — Скажи малому, пусть держит хвост морковкой.

— Он не жалуется, — сказала Кожаная Морда.

После сотни миль по жаре мы смотрели на кран как на мираж. Хозяин направился было к нам, но Кожаная Морда вспомнила:

— Вилли!

— Чего? — отозвался Хозяин.

— Твой портрет, — сообщила Кожаная Морда, с хрустом повернув голову в сторону шестикратно увеличенного изображения над сатуратором. — Твой портрет, — сказала Кожаная Морда, — ты на нем плохо выглядишь.

— Ясное дело, — сказал Хозяин, наклонив голову и шурясь на фотографию. — Только сам я был не лучше, когда меня снимали. Ходил как после дизентерии. Попробуй научи уму-разуму этих законников в конгрессе — ослабнешь похуже, чем от летнего поноса.

— Научи их уму-разуму, Вилли! — закричал кто-то в толпе, которая все росла, потому что народ валил с улицы.

— Научу, — пообещал Вилли и обернулся к субъекту в белом пиджаке. — Налей же нам кока-колы, Док, Христа ради.

Док чуть не умер от разрыва сердца, пока бежал за прилавок. Полы его белого пиджака распластались в воздухе, когда он сделал поворот вокруг стойки и, расшвыряв девушек в салатных халатиках, ринулся к бару. Он налил стакан и вручил Хозяину, а тот передал его жене. Он стал наливать следующий, приговаривая:

— Мы угощаем, Вилли, мы угощаем.

Этот стакан Вилли взял себе, а Док продолжал наливать, приговаривая:

— Мы угощаем, Вилли, мы угощаем.

Он все наливал и наливал, пока не налил пять лишних.

К тому времени толпа у дверей аптеки разрослась до середины улицы. К стеклянной двери прилипли носы — люди хотели разглядеть, что творится в полутемной комнате.

— Речь, Вилли, речь! — кричали на улице.

— Ну что ты скажешь, — произнес Хозяин, обращаясь к Доку, который повис на никелированном кране

сатуратора и провожал взглядом каждую каплю кока-колы, исчезающую в глотке Хозяина. — Что ты скажешь, — повторил Хозяин. — Не затем я ехал, чтобы речи говорить. Я ехал проведать папашу.

— Речь, Вилли, речь! — кричали за дверью.

Хозяин опустил стакан на мрамор.

— Мы угощаем, — прохрипел Док, изнемогая от восторга.

— Спасибо, Док, — сказал Хозяин. Он пошел к двери, но оглянулся. — Знаешь, посиди-ка ты лучше здесь да продай побольше аспирина. А то ведь на даровых угощениях и прогореть недолго.

Он протиснулся к двери, толпа попятилась, и мы пошли за ним.

М-р Дафи нагнал Хозяина и спросил, собирается ли он произносить речь, но Хозяин даже не взглянул на Дафи. Он шагал через улицу уверенно и неторопливо — прямо сквозь толпу, как будто ее и не было. Изгородь длинных красных лиц провожала его настороженными глазами и беззвучно раздвигалась. Он рассекал толпу, а мы — те, кто приехал в «кадиллаке», и те, кто был во второй машине, — шли у него в кильватере. Потом толпа сомкнулась за нами.

Хозяин шел прямо вперед, опустив голову, как человек, который вышел прогуляться и подумать о чем-то своем. Шляпу он держал в руке, и волосы упали ему на лоб. Я знал, что они упали ему на лоб, потому что он раз или два потрянул головой, словно взнузданная горячая лошадь, — он всегда так делал, когда гулял один и чуб падал ему на глаза.

Он шел прямо через улицу, прямо через газон и вверх по ступеням суда. Никто не поднялся за ним по лестнице. Наверху он медленно обернулся к толпе. Он смотрел на нее, мигая своими большими глазами, словно только что вышел из темного вестибюля и старался привыкнуть к свету. Он стоял и помаргивал,